

АРТУР ХОМИНСКИЙ

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ПСУ



Полное собрание сочинений

Артур Сигизмундович Хоминский
А. Л. Соболев
Возлюбленная псу. Полное
собрание сочинений

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5811633

Возлюбленная псу: Полное собрание сочинений / Сост. А.Л. Соболев.: Водолей; Москва; 2013
ISBN 978-5-91763-152-3

Аннотация

В настоящем издании собраны все известные на настоящий момент прозаические и стихотворные произведения, вышедшие из-под пера загадочного киевского писателя Артура Сигизмундовича Хоминского (1888? -?). Избегавший литературных контактов и оставшийся полностью незамеченным современниками, Хоминский предвосхитил в начале 1910-х многие формальные открытия, вошедшие в русскую прозу десятилетием спустя и составившие ей мировую славу.

Содержание

Проза	4
Уют Дженкини	4
I. У истоков	5
II. Жизнь, эта вечная жизнь!	16
III. Бал у Е.Н. Мирановой	21
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Артур Сигизмундович Хоминский

Возлюбленная псу

Проза



Уют Дженкини
1908–1914. Первые сны

И сказала мне Она:

Возьми денег, купи белой, как Мои снега, бумаги, золотое перо и фиолетовых чернил и напиши сны Дженкинского Уюта. Потом отдай напечатать так, чтобы люди постигали невозможное. Сам же уйди от печального мира в царство Мое. Оно не проходит, и его никогда не было.

И я взял денег, купил белой, как Ее снега, бумаги, золотое перо и фиолетовых чернил и написал сны Дженкинского Уюта. Потом отдал напечатать так, чтобы люди постигали невозможное. Сам же ушел от печального мира в царство Ее. Оно не проходит, и его никогда не было.



I. У истоков 1914

Былые годы Тальского тонули в сумраке, и сам он не любил о них вспоминать. Достоверно известно, что, получив великолепное в своем совершенстве образование, он, когда на 17-м году его роскошной жизни появилась сознательность, был первым, кто ушел от повседневной маяты в Дженкинское Общество Стояния на Перекрестках.

И лишь порою, «в дни, когда опадают листья», перед ним проплывали неизъяснимо милые черты давным-давно умерших родителей и тайники их парка, где в укромном месте он столько раз с не по-детски горящими глазами следил за причудливой игрой Матери-Природы и ее лучших детей – птиц.

И уходил он в трансцендентальное состояние души своей, и слезы просветлевшего восторга тихо струились по его еще полным щекам. Но как часто из этой нежной задумчивости выводил Тальского голос его наставника, серого и мрачного существа.

Тот любил его по-своему, стерег от напастей, как лучший пес или преданнейшая нянька; но, обожая науку, в особенности языки и математику, заставлял своего воспитанника смирно сидеть в полутемной классной комнате и, не взирая на весеннюю жизнь парка за раскрытым окном, переводить различные детские фразы, казавшиеся Тальскому наивными, да решать простенькие задачи, долженствующие, по мнению учителя, подготовить слушателя к жизни.

Таких фраз и задач Тальский сейчас помнил немного, но этого было более чем достаточно, чтобы вызывать тихую, отвратительную тошноту и подергивание конечностей. Вот эти образцы, первые ступени знания:

1. Проезжая через эту реку, мы увидели молодую послушную девушку, а также прекрасных куриц.

2. Я тебя спрашиваю: почему ты не лепетал о счастье страдания?

3. Сама ты, мразь, надломленная!

4. Дедушка воспрянул духом и потерял браслет.

5. Археологическая комиссия постепенно приближается к зайцу.

6. Моя мама в пуху.

7. Стало доподлинно известно, что разъяренный лев проглотил семейство моего двоюродного брата, равно как и соломенную шляпку моей заботливой матери.

8. Тетя Лиза не может прекратить землетрясения.

9. Очевидно, что брату, изредка подталкиваемому слабым северо-восточным ветром, было приказано наблюдать за мышами.

10. Молодая, безупречная девочка стоит над кровоподтеком.

11. Когда брат доказывал свое царское происхождение, он смотрел на ту собаку, около которой стоял дом.

12. Опытный фармацевт мажет красной краской длинный хвост нездешнего кота.

13. Человек несет медведя в лес, и т. д., и т. д., и т. д.

Да, много было умных, красивых фраз. Разве все запомнишь? Но, промучившись над ними годы, Тальский понял, что обладает он в совершенстве важнейшими земными языками. А прирожденная его любовь к математике нашла свое применение в таких, как эти, задачах:

1. Торговец смешал 8 ф. чаю по 2 р. 20 к. за фунт, 3 ф. кофе по 80 к., и 9 ф. муки по 6 коп. за фунт. Спрашивается: почему он должен продавать эту смесь, чтобы не получить ни прибыли, ни убытка? Ответ: 1 р. 02 $\frac{7}{10}$ к.

2. 19 мальчиков, кушая по 22 часа в сутки, в продолжение 14 дней съели 972 яблока, 1 грушу и 16 384 сливы. Спрашивается: сколько потребуется таких же мальчиков, чтобы они, кушая по 24 часа в сутки, в продолжение 30 дней, могли съесть 997 яблок, 52 578 груш и 72 568 $\frac{4}{5}$ сливы, если питательность этих фруктов, по их порядку в задаче, равна 1, 0,6 и 0,25? Ответ: 81,2 (7) мальчика.

3. Разделить 12 на 6 так, чтобы в частном было 3. Ответ: невозможно.

4. У 2 торговков было 3 яблока. Одна из них сказала другой: если ты мне дашь одно яблоко, то у меня будет количество яблок, равное наибольшему корню уравнения $7x^7 + 6x^6 + 5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x = 1538$; если же я тебе дам одно яблоко, то у тебя будет количество яблок, равное 22-й цифре справа числителя тридцать второго числа Бернулли. Спрашивается: каково первоначальное число яблок у обоих торговков? Ответ: 1 и 2.

5. Из Петербурга и Чикаго вышли навстречу 2 поезда, один делает 5 верст в час, другой 6. Одновременно с первым вылетает муха, пролетающая по 12 верст в час. Спрашивается: догонит ли первый поезд муху, если она по прошествии 24 часов будет убита на месте, и через сколько времени? Ответ: догонит, через 57 час. 36 мин.

6. 5 барышень одеваются в продолжение 60 часов. Во сколько времени оденутся 10 барышень? Ответ: 30 ч.

Быстро и легко решал он такие задачи, и дух его погружался в тайны царицы знаний – математики. Но все же, достигнув 15 лет, когда его спрашивали: кем думает он быть? банкиром, или спортсменом? Тальский задумчиво улыбался и неизменно отвечал: «Я буду членом Общества Стояния на Перекрестках». И окружающие приветствовали его, и сердца их наполнялись радостью великой.

Тем временем молодой гений читал без разбору все, что попадалось, даже на незнакомом языке, и интересовался всем, подготавливая себя к будущей деятельности. Однако сильнее всего любил он всестороннее изучение природы, поэзию и спорт. Пока что никакого стихотворения не написал, но никто не сомневался, что это когда-нибудь случится.

К этому времени относятся первые пробуждения всевластной любви. Томления ее были сладки и жгучи; ночью в бреду на горячей постели лепетал он дивные, неземные слова, чудились ему страстные ласки, бездонные поцелуи – короче говоря, все, что грезится в эти юные, безвозвратно ушедшие годы.

Но абсолютную невинность нес он сквозь соблазны, дабы когда-нибудь сложить ее, как лучшую жертву, на алтарь возлюбленного божества.

Достигнув необозримой роскоши знаний, Тальский поселился в городе и увлекался жизнью. Там-то в одну майскую ночь, быть может, в прекраснейшую из всех, когда-либо раскинувшихся над землей, он встретился с двумя женщинами, которые впоследствии превратились в Истину его жизни. То были: Елена Миранова и Зинаида Дорн.

Прошлое Мирановой было неизвестным и страшным. Никто не знал, когда она пришла в этот дольний мир, но жители города, равно как и Дженкинского Уюта, познали ее тайны по преступлениям, совершаемым из-за нее. Она же осталась недостижимой, и лишь образ ее, красавицы с иссиня-черными волосами и странными блесками бездонных глаз проплывал в тумане предутреннего бреда.

Зинаида Дорн была земнее. Будучи девочкой-институткой, отличалась шалостями взрослой женщины. Была она очень богатой, с 14-ти лет владела золотыми неисчерпаемыми приисками на острове ее имени, где-то около Северного полюса, и поэтому не отказывала себе ни в чем. Любила искусство, как никто в мире, и науку, как Тальский. Были напечатаны роскошным изданием непонятные сборники ее стихов, картины ее не прекращали привлекать к себе кадры ее поклонников. И была она, как сияющий праздничный день.

Тальский неоднократно уже плакал у ее ног, целуя ее вечно-зеленые ботинки, но она безжалостно смеялась и говорила ему: иди и постигай всевозможные науки! И он шел и постигал всевозможные науки. Так мелькали месяцы.

В ночь, когда Тальскому исполнилось 18 лет, он занялся анатомией. В это вложил он все свои способности и не удивительно, что достиг многого в сравнительно короткий промежуток времени, так как был он счастливой точкой сочетания двух глубоко интеллигентных семей. И в одинаковой степени обладал он качествами степняка-самодура, равно как и голубоватой институтки. Поэтому, под утро, он узнал, что, кроме других свойств, труп женщины, после ее смерти, обладает большей горючестью, чем таковой же мужчины. Это его удивило. Стало необходимым за разъяснениями обратиться к пожилой, но еще вполне щадимой временем даме, у которой он нанимал прекрасную комнату и платил за это деньги. Но ответ был столь решителен и странен, что ему надолго перестало хотеться производить подобные опыты. И он решил уехать. И хорошо знакомая ему низкая мебель, на которой

любил он мечтать о былом и возможном счастье вместе с сумеречничающими барышнями – стала серой, узкой и ненавистной. Было близко. И плакал он.

Последняя ночь прошла сверх ожидания спокойно. Правда, мелькали во сне химеры, как тревожное скитание по извилистой каменной дороге между нетронутыми лесами, где дорожные страхи сильнее картины того же названия, и бьется израненная человеческая душа. Но сон прошел, и не успевший еще открыть глаза Тальский познал неумолимость сегодняшнего дня.

К утру встал кошмар расставания. И в последнюю минуту, когда слезы душили горло, и пожилая, но еще вполне щадимая временем дама сожалела о минувшем и готова была на себе доказать разнообразные свойства женского трупа, когда прошлое стало бесцельным и ненужным, Тальский, подобно эмигрантам перед окончательным отъездом в Америку, стал танцевать вальс, вместе со своей бывшей соседкой, тайно в него влюбленной, чтобы мимолетным и искусственным весельем на миг один заглушить тоску, что бросала свои зерна в его сердце. И глаза, наполненные слезами, разгорались от легкой и пенящейся, как молодое вино, мелодии, которую играло на рояле какое-то серое, никем не замеченное существо, и кружилась в просветлевшей грусти одинокая пара, и разбуженные розы облетали, роняя нежную тайну лепестков на холодную игру зеркального паркета. Но погасло сладкое томление, и, опустив глаза, Тальский уехал на вокзал, вечно живущий своей особенно лихорадочной жизнью. Неумолимая печаль овевала его своим покрывалом и стала вечной, как колеснопреклоненная вера у давным-давно заколоченного гроба. И над вечерними женщинами легло приближение Ее, неуловимой и вечно милой. Предстояла суточная вагонная тряска, и пыль, и недоверие окружающих. И, одетый во все серое, Тальский думал, что часы идут медленнее, и не будет конца ничему. Но сутки прошли незаметно, и незримо появился сорокаверстный путь от конечной железнодорожной станции к Дженкинскому Уюту, к снам Елены Николаевны.

Была тоска полей; необозримая, спокойно-ровная местность с где-то чернеющим лесом и одинокими, пугливыми людьми. Крошечная деревенька была погружена в бездну. Снег лежал в канавах, ровной полосой белея на обнаженной груди земной, и люди старались использовать каждый его комочек, отчего путь их, и без того трудный, был извилист и утомителен. И слева от дороги, словно алтарь Ее полей, возвышался нерукотворный курган, и кругом него пластами лежала угрюмая жуть. Подъезжая, Тальский увидел унылую черную птицу, что-то долбившую в мерзлой земле. Было возможно, что это – ворон, погруженный в свои январские думы, и когда это стало очевидным, и с низким карканьем птица поднялась в начинающую сереть даль, Тальский обрадовался, что не забыл еще своей орнитологии, и глаза, его близорукие глаза, оказали ему столь большую услугу. Но затем стало еще тоскливее.

Проехали деревеньку, где изредка рассыпанные ребятишки испуганно взирали на экипаж, казавшийся диковинным исключением от повседневной маяты. Когда же Тальский, миновав бесконечный ряд отвратительных в своей оконченности мужицких изб, въехал на ровную и снежную дорогу, лошади, по-видимому, заранее приготовленные к неповиновению, остановились. Не помогли ни удары кнута, ни крики еще не потерявшего надежду кучера. Все было напрасно. Дело становилось серьезным. Моментально сбежалась толпа, искавшая, по своей необразованности, развлечения в чужом несчастье. Для нее это было почти тем же, чем квартеты Шевчика или 41-я выставка передвижников для любителя-интеллигента. Многие парни, захватив кнуты, стегали запряженных коней, ннооо! кричали другие, третьи, молча, с озверевшим лицом, напирали сзади. Было все хуже и хуже. Давались советы, своей бессмысленностью ясно показывавшие, до какой степени никто из толпы не подготовлен к такого рода затруднениям: так, например, одни предлагали связать лошадям ноги, взвалить на сани, в которые, по словам мужиков, было необходимо запрячь

крестьянских коней. Не было сомнения, что под этими последними подразумевались собственные лошади советчиков, втайне надеявшихся при этом хорошо заработать. Другие громко думали, что наилучшим исходом будет нанять автомобиль в городе, отстоящем уже в 20-ти верстах, причем способы передвижения туда почему-то никем указаны не были.

Угрожающе напрягалась упряжь, когда животные метались в стороны. Так шло время, и злоба Тальского возрастала прямо пропорционально квадрату числа секунд, отлетающих в вечность. Сперва робко, затем смелее, и наконец в один голос мужики решили позвать некоего Юрку, имевшего над бессловесными животными какую-то магическую власть. Двое сильнейших храбрецов отправились за ним. «Поможет тут только Юрка, а он знает!» – неслось им вдогонку. Оставшиеся ухватились за случай покалякать, и в их рассказах Юрка вскоре вырос до непобедимого укротителя диких зверей, женщин и других упрямых и неразумных существ. Наконец, через полчаса явился долгожданный. Он был мрачен, оборван и, по-видимому, пьян. Толпа расступилась перед ним, кучер с испугу влез в сани и нелепо задергал вожжами. Юрка как-то многозначительно понюхал воздух и вдруг, быстро прошептав какое-то заклинание, с нечеловеческим криком стегнул снизу лошадей. Те сразу рванули и понесли. Голова Тальского откинулась назад, и он схватился руками за нее, вероятно опасаясь, что она отлетит. Комья снега заставили его свернуться клубком за спиной кучера. «Чтобы трава поросла на пороге его дома!» – ругал кого-то невидимого Тальский, не знавший, в какую сторону наклоняться, дабы не вылететь из метавшихся саней. Кони несли, опьяненные собственной скоростью, и, что хуже всего, приняли галоп с разных ног, отчего спины их стали похожи на волны во время бури у скалистых и туманных берегов Черного моря. Кучер горел стихийным бешенством и злобно и остро хлестал своих бывших голубчиков. Наконец ему каким-то чудом удалось прекратить опасную скачку, грозившую окончиться плачевно, свернув свои сани в глубокий и девственный снег. Лошади пошли шагом, и Тальский уже смеялся над былой опасностью и смотрел кругом. Деревня давным-давно скрылась позади, где-то на уже темнеющем небе играли отблески далекого, неведомого города, и, торжественно окутанная фиолетовой дымкой, надвигалась ночь. Было тихо, и над бескрайней, изредка испещренной снегами равниной легло дыхание морозной зимы. Усталое солнце красным шаром тонуло в сумерках горизонта, и робко заблестали небесные красавицы – звездочки. Покой замерзания, мирная предзакатная тишина навевали сонную и легкую дрему. Не хотелось двигаться, лишь созерцать игру успокоенной природы и грезить о несказанном, о том, что не приходит и чего никогда не было, о том, что близко и в холодные январские вечера и в ветреные летние дни. К ночи мороз усилился... и над беспредельной равниной грустной земли стоял застеклившийся воздух. Тогда появилась из холодной дали и остановилась перед Тальским Собака, всем собакам Собака. И он познал ее тайну и, охваченный экстазом, никогда, быть может, вновь не появившимся, взмошел на сияющие высоты своей мысли. И вылились они в стихотворение, единственное, которое создал Тальский за всю свою роскошную жизнь, но достаточное для того, чтобы мир признал его бессмертным поэтом. Вот оно:

Возлюбленная Псу

В степи глухой, в тиши преступной,
Унылый пес печально жил
И над мечтою недоступной
Он поздним вечером кружил.
Но здесь, в безвременьи свободы,
Задохнется ночей краса...
Да восхвалятся злые годы

Никем не признанного Пса.

И, ничего не понимая,
Он изумителен и прост —
Разбита шкурка дорогая,
Засыпан грязью ценный хвост;
Зимы жестокие морозы
Убили грустную красу,
Но не страшны ночей угрозы,
И странен мир больному Псу.

Понесся Пес в края иные,
В края покорности своей,
Где дремлют птицы золотые,
Где шум листвы и сон корней —
Там волчий вой и ропот бора,
Русалки, мрак и тишина,
И под утесом косогора
Неутоленная волна.

Там женщина, исчадье мрака,
По речке вниз плывет одна
Смотреть, куда ушла Собака,
Какая доля ей дана?
Но страшен Пес в своем ответе:
Он разорвал и перегрыз
Ее обманчивые сети
И по реке спустился вниз.

Сказать ли мне о том, что было,
Что позабыт отныне Пес?
Что кто-то ночью, на могилу,
Костей и мяса не принес,
Что промелькнули злые годы,
Как несказанно жуткий миг,
И вновь безвременье свободы
Слилось в один протяжный крик?

И вновь погас в дневном уюте
Безрадостный, незримый круг,
И ночь сплела венок из жути
Ее задумчивых разлук,
И вновь длинна дорога терний,
Душа грустит, душа одна,
Но свет мелькнет, как свет вечерний,
У нераскрытого окна...

И Пес, и женщина не знали,
До чьих высот дойдут они:

Лихие руки начертали
Томительно пустые дни,
Легла тупая боль укора,
И не дано былых утех,
И на высотах косогора
Не прозвучит прощальный смех.

Внизу, в безрадостной долине,
Горячий камень дик и бел —
Печальнейший из псов отныне
Расторгнуть бремя не посмел.
Неугасимую лампадой
Блестит веков тяжелый сон,
Но кто же будет Псу наградой,
Когда тоску узнает он?

Кто встанет ясный, долгожданный,
Собаке молвит: потерпи,
Пока настанет миг желанный
Зажечь огонь в твоей степи?
Мы, люди, неизменно верим:
Удастся нам когда-нибудь
Свое общение со зверем
Узлом незыблемым сомкнуть.

И Пес с тех пор призыву внимлет,
Ему упреки не страшны —
Он, сильный, мира не приемлет
И ждет торжественной весны.
О прелести иной свободы
Поют земные голоса...
Да восхвалятся злые годы
Полузадушенного Пса!

Пожалуй, он узнает что-то,
Вникая в смысл игры ветвей,
Вперяя взор в туман болота
Над бедной родиной своей.
Но повстречалась с Псом неожиданно
Жена — сильнейшая из жен,
И кончилось свиданье странно,
И этим мир был удивлен.

«Уйди! — она сказала глухо, —
И повинуйся только мне»,
И вмиг дала ногою в ухо,
Махнула камнем по спине...
Не сдался Пес, его свирепость
Решила женщины судьбу,

Звериная вернулась крепость,
Он смело ринулся в борьбу.

Вцепился он, что было мочи,
И вбок отчаянно рванул,
И женщину, исчадье ночи,
Клыками насмерть полоснул.
И над ее холодным трупом
Печальный Пес протяжно взвыл
И, быстро скрывшись за уступом,
Помчался в лес таким, как был.

И с той поры годы проходят,
Сияет лунный лик вдали,
И Пес в тоске мятежной бродит
И ждет чего-то от земли;
Но там, где зло вполне уснуло,
Где тихо, сонно и светло —
Собачьим духом шибануло,
То, значит, псиной понесло...

Что зверь, конечно, зол — мы знаем:
Он не пленялся красотой,
Ему могила мнится раем,
А жизнь — неконченной мечтой.
Больная мысль, живое слово,
Желаний всплеск, игра души —
Конечно, нам уже не новы:
Мы знали многое в тиши!

О как туманны сказки эти!
Они, быть может, не про нас:
О том, чего и нет на свете,
Они поют в вечерний час.
Мелькнут века, погаснут своды,
Рассеется ночей краса,
Но восхвалятся злые годы
Ее возлюбленного — Пса!

Но, мысленно покинув все мирское, утонув в волнах музыки слов, Тальский не заметил, как подъехал к берегу реки, где корчма манила теплом и своим немолчным гулом. Войдя в нее, он действительно заметил сонмище мужиков. С озверевшим видом, нелепо размахивая руками, они горланили солдатские и иные частушки, и рев их бился, подобно пойманному льву, о вспотевшие окна. Пролетали слова:

Ах, мой милый, мой хороший,
Ты купи мне калоши,
А в калошах буква «ять» —
Я приду к тебе опять...

Случайно зашедший охотник, пьяный, как и другие, целился из ружья в зеленую лампу; его собака, ошпаренная чьим-то грязным кипятком, выла у последней грани безысходности. Кое-где, скинув пиджаки, дрались, и зубы выбивали мелкую и быструю дробь сорвавшейся злости. Молодой парень, будто бы только что сошедший с лубочной картинки, плакал о

жизни загубленной,
где образ возлюбленной,
образ возлюбленной – Вечности —
с яркой улыбкой на милых устах...

И над воем и испарениями человеческой толпы лежало угарное, беспросветное похмелье, похожее в углах комнаты на черную, жуткую бездну. Не было ни рассудка, ни воспоминания о голодных миллионах, только залихватское веселье, пьяный разгул кабацкого вина. Многие хотели уйти домой, но спотыкались на дороге и падали на девственный, звенящий снег, и оставались беспомощно лежать, покинутые Богом и людьми, причем некоторых из них сильно и отвратительно тошнило.

Тальский позвал уже нализовавшегося кучера и поехал дальше. Пути конца не было, и мороз обнял, покори́л его своим царственным, неумолимым величием. Легли поля, снежно-синие и жуткие в своей неприступности. Где-то завыл волк, и адская его гамма кончалась рычанием столь низким, что ее не мог слышать никто, только сам зверь, чей слух воспринимал недоступные человеческому уху колебания ниже 32 в секунду. Быстрый заяц, словно легкий, играющий дух этих окрестных мест, промелькнул по снегу и скрылся в туманной дали. Взошла на высоты луна в лучистом ореоле идеальности своей и тихо и нежно лила серебристое сияние на землю, убаюканную кротким и странным сном. Стояло полное безветрие, и голубоватый эфир застыл, ложась пеленой, как могильным саваном, на пустоту времен, давным-давно отошедших в вечность. Мороз все возрастал, украдкой заползал к телу Тальского и ледяными, болезненными поцелуями навевал грезы о заколдованных краях, где замки изо льда, как воздушные замки грезы, где сказочное богатство непотухающих драгоценных камней рассыпано Всевластной Предвечной Рукой. И в иное на одиноких деревьях, в дыхании, замерзавшем на губах, — струились переливы фантастических, неземных красок и невиданных доселе огней.

Надвигалась смерть, невидимкой парящая в туманной дали. Не хотелось ничего, и далекая жизнь казалась ненужной, бесцельной и до смешного маленькой. Грань была перейдена. Жаждалось лишь уснуть без движенья, мирно покоиться на груди Матери-Природы, что светла, и любит, и убьет, — и сном без видений забыться, чтобы, может быть, встать в Мае, в фиолетовом счастье бесконечно радостной встречи.

Тальскому порой хотелось выскочить из саней, побежать по дороге, разогреться, но тело не двигалось. Было хорошо и уютно, как в теплой ванне. Он знал, что замерзает. Вечность ли, мгновение промелькнули, но лошади въехали в лес и на длинном подъеме пошли шагом.

Этот лес был предпоследней стадией его пути. В ширину тянулся он десяток верст, за ним был Дженкинский Уют, где жизнь, и вечный свет, и, быть может, Елена Николаевна...

Лес был величественен. Отблески лунных лучей играли на белом покрове опущенных ветвей, под которыми притаилась фиолетовая печаль. Никогда человеческая рука не уничтожала царственных, могучих деревьев. Они стояли извечно, горе подъяв алтарь увенчанных глав. Немногочисленные люди, жившие на окраинах, хранили его печать, и были молчаливы и сильны, как лес. А в глубину никакое человеческое существо никогда не заходило — там была вечно-дремотная тайна Царицы-Природы, единственный на земле совершенный уют.

Простирались бездонные топи, усеянные обманчивым покровом неизменно-зеленых растений, окаймленные повергнутыми, полусгнившими вековыми стволами, над которыми чаща молодых побегов сплелась в неисследованную и для птиц чащу. Летними вечерами одни лишь мошки вились столбом, сверкая радужными отливами на затерявшемся луче далекого и недоступного солнца, да над экстазом природы носился нежный и пьяный аромат невиданных цветов, словно взлеты снежно-белых ангельских крыл. Была опущенной завеса, и шепот роскошного земного сладострастия порой долетал через пространства в людские дома, будто причудливая игра потустороннего колокольного звона. Но люди не оскверняли своим дыханьем пышное величие чертогов, и красота без конца и без краю вечно цвела неземными богатствами, сокровищами иного, лучшего мира, намеками нетленных и вечно-рождающихся чудес. И плавилась Мать Природа в нежном и жарком томлении своей страсти, и вечно-влюбленной отдавалась Великому Богу.

Зимой все тонуло в дремоте ожидания, и бледнопуховый покров Ее снегов стался легкой пеленой на застывшую земную грудь, в которой на глубине зарождались тайны. И очарованный лес, онемевший от грусти, беззвучно ронял алмазные слезинки.

По другой стороне реки, через которую мостами перекидывались сраженные великаны-деревья, было царство зверей и птиц, так заметное зимой по бесчисленным следам и дорожкам, проложенным лесными обитателями; а их было много. Млекопитающие ли, птицы ли, страшны были они. И Медведь, и Волк, и Орел, и Филин, и Lunx, и Alces, и Lepus, и Accipiter, и Urogallus, и Corvus¹...

Держалось упорное предание, что когда-то окрестные люди пошли на них войной, и, вконец разбитые, погибли все до одного под их клыками, лапами и клювами. И все осталось по-прежнему, как этого требовали незыблемые законы Матери-Природы, и на самой грани леса, на опасном болоте, что отделяло таковой от необозримых человеческих пажитей, опять воцарились охрипшие Выпи, своими клювами до кости разбивавшие сквозь сапоги ноги безрассудным охотникам, желающим их взять.

Для чад своих, зверей и птиц, Природа не жалела лучших богатств. Были даны и дремучие чащи-логова, и кустарники, шептавшие какую-то сказку, и луга, летом испещренные мириадами желтеньких цветочков, и глубокие озера, где в светлые ночи шум пролетающих уток был подобен раскатам грома. Охотникам, очарованным неисчислимостью дичи, случалось быть свидетелями страшных нападений хищников на мирных, кормящихся животных, после которых разбросанно валялись клочья шерсти, да окровавленные ноги. Но так как людей, живших в этой части Дженкинского леса, было очень мало, количество тех и других животных никогда не уменьшалось. Было во всем мудрое величие Матери-Природы. Иногда какой-нибудь беспокойный зверь, влекомый манящими вестями о богатстве людского скота, забегал в ближние деревни, откуда обыкновенно уже не возвращался, сраженный могуществом людских ружей и кинжалов. Но по другую сторону реки, в лесную глубину, где местами не было и крошечных насекомых, в абсолютном экстазе растительного царства – из всех живых существ бывал один только старый белый Волк, всем волкам Волк. Был он велик, и много испытал он в жизни своей. И заряд адским бичом врезывался в его стальные мышцы, и быстрые, как буря, борзые, настигали его и, облепивши тучей, валили на землю, потеряв при этом многих товарищей своих, и в схватках с сильными Дженкинского леса получал он не одну глубокую и кровоточащую рану. Все переживал старый Волк, несчастья забывались, раны зализывались, и снова он, могущественный и грозный, носился по обоим берегам. Свиреп он был беспредельно, и злой была его месть. Люди, потерявшие надежду его убить, передавали друг другу его великолепные подвиги, причем инстинктивно и боязливо глядели в окна низких домов и хватались за ружья и ножи. Было известно, что

¹ Рысь, лось, заяц, ястреб, глухарь, ворон (лат.). – Примеч. сост.

когда-то, глубокой зимой, он на малопроезжей дороге настиг смельчака охотника, бывшего верхом, и, выскочив из чащи, свалил коня, вцепившись ему в горло, причем всадник был так перепуган внезапным появлением громадного белого зверя, что на время потерял способность речи. Но когда она вернулась, он произносил ужаснейшие, кошунственные проклятия. Исчезновение многих собак и штук скота было делом Волка. В последнее время окрестные борзые, узнав несокрушимую силу его клыков, подобно стальным щипцам, вырывавших куски мяса, уже не подступали к нему, но, науськанные охотниками, пугливо кидались в сторону, когда, рыча, он косился на них. В стае себе подобных он всегда первым настигал оленя и сразу валил его на землю. Все звери боялись Волка, даже старые медведи, могущие померяться с ним силой, но не обладавшие ни его выносливостью, ни злобой, ни отвагой. Бег его бывал вихря быстрее, и лязканье белых зубов уподоблялось выстрелу. Сцепившись как-то с борзой пасть в пасть, он с первой хватки переломал ей челюсть. Несколько зим тому назад он спарился с лучшей волчицей своей стаи, но вскоре разгрызся с ней из-за куска добычи и задавил ее, держа ее зубами за горло до тех пор, пока не прекратилось в ней дыхание. Но другой подруги найти не мог и жил он одинок, печален и страшен. Да! таков был Волк, всем волкам Волк.

Тальский знал тайны Дженкинского леса и, проезжая его ширину, боялся встретить Волка так, чтоб тот лицо его мог видеть. Рождалось сознание, что уют недалеко. И огромными усилиями воли тело боролось с морозом. Оно так жаждало теплой ванны и милого, спокойного отдыха.

Мелькнули первые огни, и вскоре зарево Дженкини расцвело перед глазами очарованного Тальского. Дорога сделалась великолепной, и лошади, почувствовавшие это, пошли вскачь. Улицы были пустынные, и лишь золотая луна лила свое нежное сияние на белые стены людских домов, да ряд бессонных фонарей казался ожерельем из бриллиантов на груди Матери-Природы. Легкой тенью, пугливо крадучись, мелькнула кошка, в пустынном саду хохотала сова, да на вершине храма, утопающего в голубом эфире этой ночи, звучал тихий и нежный свист, словно призыв малюток-карликов в роскошные страны красавицы-зимы.

Тальский подъехал к столь хорошо знакомому собственному особняку, где серая и добрая старушка, когда-то носившая его на руках, уже приготовилась к его приезду. Она любила его, словно родное дитя, и в долгие вечера нашептывала ему сказки Дженкинского уюта, зная, что он всю свою роскошную жизнь будет стоять на страже старинных заветов, как доблестный и сильный рыцарь.

И целовала его со слезами, и приняла безропотно заботы повседневности, и вскоре Тальский, разметавшись на пуховой постели, грезил о том, что не проходит и чего никогда не было. И рождающийся свет голубоватого дня чуть брезжил, играя на контурах заломленных рук.

А до следующего вечера Тальский, полуодетый, перелистывал милые книги, по которым он так соскучился, тихо напевая старинные песни. Когда же откуда-то вновь появились сумерки, он вышел на улицы Дженкинского Уюта, над которыми легла фиолетовая печаль. Но люди не знали ее, они блуждали, привлекаемые яркими огнями магазинов и ослепительным до слез видом своих женщин. Тальский, почему-то отдавшись своему любимому чувству – возмущению, шикарный до невозможного, прислушивался к биению людских жизней. Вдруг он встретил Зинаиду Дорн в черном платье и таком же платке и сразу, равно как и все находящиеся вблизи, понял, что, несмотря на свою бархатную шубу, она страшно похожа на некое женское существо, порой презираемое, порой желанное, но всегда готовое к утолению чьей-то страсти. Стало жутко при мысли, что у кого-нибудь могут оказаться нахальство на губах и деньги в бумажнике. То и другое было у Тальского, и сам он, пожелавший мастерски сыграть тайную и жалкую роль, пошел за Зиной, придав себе самому безучастно-фланерский вид. Дорн, будто бы ни о чем не догадывающаяся, стала подниматься в гору по

улице, носящей название какой-то иностранной религии. Здесь людей было меньше. Минував длинный ряд домов сомнительной архитектуры, они приблизились к аристократичнейшей части Дженкини, где не было ни магазинов, ни мелькания карет и автомобилей, лишь властно царила печать денежного могущества. Уходящие ввысь здания поражали мраморной облицовкой, громадными окнами и великолепной тишиной. Улицы, ровные и широкие, кое-где испещренные бюстителем порядка, тонули в нежном полумраке фонарей.

Когда же луна, золотая луна, выглянула из-за экзотических фигур на крыше причудливого особняка, принадлежавшего какому-то инженеру, больному и талантливейшему человеку, – Тальский пошел рядом с Зиной. Он ничего не мог сказать и лишь прислушивался к биению жизни уюта, что из вина, любви и преступлений бросал вызов спокойному зимнему небу.

Улицы носили женские имена и оттого они казались заманчивее и печальнее. За окнами проплывали неверные силуэты теней. Был синий час. Вероятно, чьи-то заломленные руки молили о безбрежном счастье, уста лепетали бесцельно-прекрасные слова, но Тальский этого не знал. Были лед, полумрак и тишина на улице, называемой Виноградной. Известно, отчего носила она такое название; некоторые думали, что на ней есть виноградники, другие упоминали о богатейшем, недавно скончавшемся купце Виноградове. С одной стороны высились роскошные дома, с другой тянулся сад, теперь пустынный, за которым были обрыв и последняя грань Дженкинского Уюта. Царила тишина, торжественная и печальная. Тальский и Зина сели на скамейку у вычурной решетки парка. Под ногами звенел лед, и скользили их зеленые ботинки. Изредка проходил закутанный сторож, за домами, где-то, чуть слышно пронесся свист далекого паровоза, и снова все тонуло в безмолвной и нежной дреме. Мелькнули часы, луна стала над улицей, словно дева, совершенная в своей красоте и поэтому не стыдящаяся своей наготы. Прокричал первый полуночный петух, ему в ответ запели другие, пронзительно завопил кот, раздираемый громадными ночными собаками... Одна из них прибежала к Тальскому и боязливо остановилась перед ним. Тот прошептал заклинание, (а он знал такое слово), и вскоре пес, именуемый Пуфиком, помахал хвостом, потерялся у ног и скрылся в туманной и застывшей дали.

Мороз усиливался. Чтобы согреть свою руку, Тальский вложил ее в муфту Зины и, встретившись там с ее рукой, долгим и страстным пожатием удержал ее в своей. Стало понятно без слов, и нежное объятие сковало их влюбленными в тайны Дженкинского Уюта. Тело Зины, окутанной шелками и бархатной шубой, казалось его апофеозом. Она была прекрасна, как ночь.

Так было их трое: Зина и Тальский. И сидели они всю ночь напролет, безмолвно сгорая в страшной, нечеловеческой тоске. И со стеклянно-играющим звоном падали на лед безвозвратные минуты...

На рассвете они расстались, целуя друг другу глаза, наполненные слезами о том, что не проходит, и чего никогда не было; затем, шатаясь, ушли разными путями. Пес, именуемый Пуфиком, поплелся за Зиной.

II. Жизнь, эта вечная жизнь!

1908

Когда Тальскому предстала ломка старых понятий и идеалов, он почувствовал, что связывающие его с прошедшим воспоминания потеряли всякий смысл и лопнули брызгами раздувшегося мыльного пузыря.

Быть может, он любил одну женщину, но она умерла от воспаления левого легкого, и ее любовь его теперь грела, как огонек папиросы за версту.

И ему стало скучно, страшно скучно...

Он пошел на берег озера; оно было синее, как мысли поэта, и глубокое до невозможного.

У берега сидело три волка. Они ели зайца. Матери не было, она умерла за год до их рождения, испугавшись декадентской луны.

Но, поссорившись из-за ног замученного зверька, они перегрызлись и съели друг друга так, что от них остались только хвостики. Двое были – белые, а третий – как снег.

А их тени жалобно выли по уходящей жизни и ее вечному наслаждению.

Далее на берегу совершались сцены из народного быта. Мужики пили водку, скверно ругая ободранных ребятишек, которые, пообедав, ели хлеб.

Сибемольную ноту выводил кулик на песчаной отмели, и рядами лежали недвижные и холодные, как северные женщины, раковины.

Жизнь, эта вечная жизнь!

Стоги сена, люди, назойливые вороны. Но вдруг с вершины спустился орел. Его глаза – пламень, его сила – сила бури, его размах крыльев 232 сант.

Он сел на копну, похожий на другую, и задумчиво глядел вдаль. Увидев это, люди вскрикнули и побежали им полюбоваться.

Но царь крылатых сидел задумчивый и грустный. Когда же ему надоели людские дразги, он поднялся и улетел туда, где нет ничего, кроме света и пространства.

Таким быть должен поэт! – подумал Тальский и выстрелил себе в висок. И ему показалось, что прошла боль сознания, и его дух полетел вслед за орлом. Но он не умер, только волосы были обожжены. Когда же он очнулся, у берега длился бал.

Все уже носили ту искру танцев, что делает ненужной изысканность туалетов, забывая, что подобное наслаждение всегда доступно за 720 рублей, собранных вскладчину.

Тальский пошел туда, чтобы встретить ту, к которой начинал чувствовать тоску, неизъяснимо щемящую зубную боль в сердце.

Они безмолвно сели у берега. Она выше, он у ее ног, бесконечно считая 25 пуговиц на ее зелененьких ботиночках, прислушиваясь к звукам оркестра, который теперь с беззастенчиво-залихватским нахальством жарил китаянку:

1 3 5 8 7 6 5 3 1

5 4½ 5 6 5 4½ 5 6 5 4 3 5 2

5 6 7 6 7 6 6 5 8 6 5 4 3 2 1...

Зеленые ботинки... ты будешь спать 100 лет, но все же ты станешь для меня вторым идеалом, невысказанным сном бесконечности. А я... я пойду в широкий мир, в безбрежное пространство, моя жизнь – это любовь никогда не меркнувших звезд, но все же я вернусь, вернусь, вернусь опять после длинного ряда столетий, чтоб лечь, уснуть навек в сырой земле-матери...

Я тебя люблю, угасшие желания, померкшие цветы, я тебе дам столько золота, сколько ты вешишь. Но не плачь, ради Бога, ради меня, ради 76164 руб. 48 коп.

Они встали, ушли и встретили труп коня.

– Милая, помнишь у Бодлэра? И ты, которую я люблю больше жизни, а жизнь я ни в грош не ставлю, будешь такою же роскошною падалью в сияющем цветами лугу!

– Виноват, мне кажется странным, что Вы говорите: труп, – кокетливо протянула спутница Тальского, Зинаида Дорн, – ведь мне мамаша сегодня купила 31 пару зеленых чулок.

– А в таком случае извините, тем более, что вы сегодня прекрасны, как 17-летняя роза.

– Послушайте, вы декадент?

– О нет, если бы я вас назвал красивым признаком невозможного, тогда дело другое.

Идут, он упал.

– Ах, Боже мой, вы испугались?

– Нет, меня эта барышня немножко толкнула.

– Ага, это дело другое.

А между тем гроза надвигалась. Все знали, что будет скандал. Все чувствовали это и боялись висящего в воздухе скандала. Но он разразился именно там, где меньше всего его ожидали.

Какой-то серый в клеточках студент девять раз подряд поцеловал свою даму, назвав ее красивой и страстной змеей. Появился вскоре на своих бесшумных ботинках хозяин.

– Кто вам позволил ругаться?

– А вы кто?

– Я приват-доцент, хозяин этого бала.

– Ваши годы?

– 29.

– Вы женаты?

– Я вам уже раз сказал, что я приват-доцент.

– Грамотны?

Хозяин не ответил. Студент презрительно пожал плечами и ушел, по дороге нечаянно сломав лом, что четвертого дня оставили рабочие.

Буря прошла. Все заговорили разом, громко.

– Да не кричите, господа, ничего не видно!

Теснятся у буфета, жрут, словно два часа ничего не ели.

– Сколько стоит дюжина апельсинов?

– Рубль двадцать пять, рубль двадцать, последняя цена рубль пятнадцать.

– Это дорого, хотите два рубля?

– У нас не торгуются, извините, барин!

– Господа, не подслушивайте!

– Кто взял огурец?

– Мой лучший друг, я обронила спички...

Тальский угощает свою спутницу:

– Вам чего? скорее!

– Мне э...э...э... любви.

– Дайте бифштекс!

– С удовольствием! Ты кто?

– Я старик!

– Так чего же ты плачешь, ты глухонемой, что ли?

– Да, от рождения.

– Сколько тебе лет?

– 71, мой дедушка покончил самоубийством.

– Каким образом?

– Нет, что вы, Боже сохрани! он не образом, он перегрыз себе горло.

– Послушайте, господин, тут какая-то сторублевка, это не ваша?

– Сейчас, сейчас! У меня был 41 рубль, извозчику дал 50 коп., бутерброды 20 коп., жене 3 руб. – да вы не подумайте чего...

– Отстаньте с вашими расходами!

– Виноват, вы танцуете?

– Нет, я оставил дома!

Зина, вся уже фиолетовая, выходит и поет:

На трамвае, близ вокзала,
Под аптекой, у перил,
Ты копеечки считала,

Папиросы я курил...

По временам откуда-то врывается пьяный рев отвратительного босяка, глядящего в освещенные окна:

Но никто не пройдет над перилами,
Ты сожжешь голубые цветы...

«Пой, птичка, – думает Тальский, облокотившись о мраморную колонну, – пока цианисто-водородный калий не откроет тебе другого, лучшего мира. Плачь, ты знаешь хорошо, что это не поможет».

Зина кончила. Едет с ним.

– Виноват, ваш отец кто?

– Мой отец золотопромышленник, а вы?

– Я, пожалуй, помещик, а ваш отец кто?

– Мой отец золотопромышленник, а вы?

– Я, пожалуй, помещик, хотите жить вместе?

– Согласна.

– Дайте мне вашу руку!

– Не хочется вынимать из муфты.

– Церковь горит, – крикнул Тальский. Нет, это только молния ударила в купол, который исчез. И, казалось, купола никогда не было, и лишь вечно-голубое небо светило над развалинами. И только теперь, на просветлевшем фоне, пламя поднялось, ясное и спокойное, как самая жаркая свеча, что когда-либо горела на святом месте.

Приехали...

– Вот моя половина, вот ваша: постель, духи, безделушки из золота и жемчуга. У вас их много?

– Нет, нет, клянусь тебе, ты у меня единственный, убей меня, я невинна...

– Дура! вещей?

– Вещей? двадцать одна подвода с половиной.

Наконец, все перевезено, перенесено, переломано.

...

Белое счастье, кошмар утоления... нескончаемые часы экстаза чувств...

Тальский? Вы заснули?

Утро...

Тальскому вспоминаются строчки:

Ты – то, чего сказать не смею,
Ты – опрокинутый бокал...

и Зина плывет в другой мир.

Довольно!

Это был абсурд, оргия страсти для цветов далекого свода. И они сходились, расходились и опять сходились. И жизнь их была ярким, блестящим сном, среди театров, садов, тигровых шкур и вечного «Асти Спуманте». Сплетая руки, они шли к солнцу с песней счастья на устах, не видя слез и проклятий.

Но колесо судьбы повернулось, и все померкло. И не стало дыхания цветов, поцелуев и жизни на вечных развалинах в бреду предутренней тоски...

Однажды Тальский уехал собирать данные для своей работы: «Четверной корень беспередаточности разума как фактор раздвоения личности у девятимесячных испуганных зайцев» и пропал 4 дня и 2 ночи.

Вернувшись в 3 часа утра, он увидел в комнатах Зины свет. – Неужели она до сих пор спит, или у нее есть... И при этом нехорошее предчувствие сжало его мозг холодным кольцом оцинкованной стали, лучшего местного производства, фирмы «Н. Петров и Тетя». Однако, нащупав в карманах два револьвера, – браунинг был испорчен, а к смит-и-вессону пуль не было – он храбро прошмыгнул на свою половину и на всякий случай надел персидский халат, купленный в Бостоне у проезжего еврея-виноторговца.

Когда он вошел в будуар Зины, она, полуодетая и растрепанная, лежа на кушетке, читала какой-то модернистический сборник стихов. В комнате было очень много дыма.

– Наконец-то ты вернулся!

– Мне было очень весело, – начал Тальский, но испугался, посмотрев на лицо Зины, – оно было землисто-серое, с черными кругами под глазами...

– Что с тобой, ты отравилась, сумасшедшая?

– К сожалению, нет! Я только 40 часов ждала тебя, а ты разоряешься! Подожди, – тянула она, – ты меня бросил, я для тебя старая, некрасивая, но найдутся многие, другого мнения, чем ты. И с этими словами она окинула взором свое громадное тело, все в лентах и кружевах дорогих.

Тальский прижался к ней, стараясь лаской потушить накопившуюся веками злобу, но она, сильная и гибкая, как две кошки, вырвалась и с дико-расширенными глазами вцепилась зубами ему в левое плечо. Тот пронзительно вскрикнул и разжал руки, но, понимая, что границы никогда не могут быть перейдены, ударил ее той же рукой по ногам выше колен:

– Тебя целуют, а ты кусаешься, подлая змея!

Зина глухо зарычала, встала, порывалась в каких-то ящиках, исчезла в другой комнате, откуда через час вышла в шляпе и одетая.

– Зина, куда ты? я тебя любил, люблю и вечно буду любить!

Но, когда она вынула из туго набитого бумажника золотой ключик, он не выдержал и бросился со слезами перед ней на колени, целуя ее уже зеленые ботинки.

– Милая, обожаемая, – плакал Тальский у ее ног, и много слов, умилительных и прекрасных, слетало с его языка, без всяких, по-видимому, заранее определенных порядка и смысла.

Зина схватила хлыст. Ударить его, мелкими каплями крови посчитать оскорбления, сделать из него раба, вечную собаку! Нет! она отбросила хлыст и взялась за ручку двери.

Но гула удаляющихся по каменной лестнице шагов Тальский не мог вынести и залился дикими, нечеловеческими слезами, после чего заснул так сильно, что не слышно было дыхания.

А когда он очнулся, на глазах его лежала мягкая, теплая, женская ручка. И Зина, красивая и печальная, шептала: «Прости меня, я гадкая, ревнивая, злая...»

Они слились в поцелуе, после которого наверно не знали, сколько времени показывают часы в другой комнате.

Жизнь! эта вечная жизнь!

Прошло несколько ночей. Тальский худеет, бледнеет и тайком принимает какие-то порошки и пилюли. А Зина хорошеет и от нечего делать собирает натуралистические открытки.

Однажды она зашла в магазин и, купив, как всегда, открытку, посмотрела и дико вскрикнула. На абсолютно-черном фоне кто-то стоял на голове. (Впопыхах не заметила, что держит открытку вверх ногами). Кинулась к Тальскому.

– Милый, стань на голову!

Тот решительно и коротко отказался, за что получил опять столько ударов хлыста, что на 69-й день ему казалось, что его тело – блок, на котором поднимают 61 пуд с небольшим на $3\frac{9}{32}$ фута.

Зина приобрела дозу кураре, с которой долго не знала, что сделать. Чтоб освободиться от нее, она впрыснула яд на ходу какому-то проходившему по улице неизвестному человеку. За это между Зиной и Тальским состоялась дуэль, так, как он этого ожидал. Пуля Зины, стрелявшей в десяти шагах, попала в одну из многочисленных счастливых десятирублевок, которыми были всегда полны карманы ее противника, и, рикошетом ударившись в ее безопасный панцирь, повалила ее на землю.

Падая, она заглянула в лицо Тальскому и вскрикнула: «Я поняла все и остаюсь спокойной – моя открытка была вверх ногами!» Затем она встала и ушла в ночные дали.

Через несколько дней Зина вполне оправилась от пережитых ею потрясений, но все-таки Тальский разорился на «опытах разводки стерилизованных бацилл молока белых испанских козлов, в абсолютно безвоздушном пространстве, без звука, света и тепла, при температуре – 273°P » и спустил имение и все десятирублевки.

Он спал, где попало, питался обедками сорных ям, прикрываясь единственной уцелевшей попоной.

Однажды, в ночь под новый год, он забрел на могилу отравленного Зиной человека.

– Серым теплом вечно спит мой красавец под смерзлой землей и никакие силы, никакие обещания не разбудят его вновь для вечно-юной жизни...

Вдруг он встрепенулся.

– Да – тихо подумал он – я нашел счастье, это: «производство шоколадных конфет из волос высоких шатенок, рожденных 31 марта».

Выпрося рубль у своего бывшего пастуха, он купил бумаги и карандашей и, сидя на тумбе, нарисовал планы фабрик.

Они были построены.

Дело принесло ему 16,777,216 рублей в год. Он сыпал деньгами на весь мир и облагодетельствовал пастуха, отдав ему рубль.

Но пастух страшно отомстил за боль Зины, за свой позор и поражение других. Он бросил Тальскому рубль на порог его дома. Тот, возвращаясь поздно домой, увидел его и, не вынеся такого страшного наплыва денег, захотел покончить с собой самоубийством – настолько сильно удариться лбом в стенку, чтобы самые микроскопические исследования не смогли найти остатков его мозга. Быть может, это было излишне, так как его совсем не было.

Но, когда он захотел исполнить свое намерение, проходящий босяк толкнул его на сорную кучу.

На ней Тальский лежал, пока не ушел.

– Стерво на навозе, – сказал кто-то, и это было общественным мнением о том, чьим сном было жить, жить всегда в апофеозе могущества и блеска.

III. Бал у Е.Н. Мирановой 1912

Тальский проснулся, зная, что у Мирановой вечером будет бал. Ему сообщили об этом на улице вчера, и, расстегнув пальто, задыхаясь от внезапно нахлынувших воспоминаний, добровольнее и радостнее зашагал домой. И ему показалось, что жизнь его, пыльная и тусклая, получила иной смысл. И веселей глядел он в глупо-озабоченные лица прохожих.

Теперь же, скорчившись, как всегда, под одеялом (пальто сползло на пол и не защищало его от холода), он мечтал, как сияющей и равнодушной звездой будет кружиться на балу, и все станут считать его воплощением абсолютной жизни.

– Дуня, – простонал он, – чаю! Но чаю не было, и свет, пугливый и холодный, вползал через окно, выходящее на лестницу, что по ночам пахла котами и еще чем-то, более сложным и отвратительным, да за стеной, где, казалось, и жизни быть не могло, безвременно охрипший голос тянул всем давно надоевшую песнь о бедном и страстном сапожнике:

Позабыла она об одном,
Бестолковая жизнь умерла —
Только снова лежу за окном,
Только нет отражений стекла;

Там смеется безглазое лихо,
Неземная покорность судьбе,
И когда-нибудь ножиком тихо
Перережу животик тебе.

Эти груди, зеленые груди,
Кислотою впотьмах оболью,
Чтоб, молясь о безрадостном чуде,
Ты узнала, как сильно люблю.

И торчит пистолет из кармана,
И пою неземную хвалу —
Бесполезно уйти от обмана
Через пурпур, экстазы и мглу...

Тальский курил и каждый окурок еще увеличивал беспорядок в комнате, казавшийся невозможным к исправлению. Книги умных и вечно-нужных стихов, динамометры, новые, как те, ботинки – все свидетельствовало о более сложной умственной жизни, чьи проблески зарождались всегда после проникновенного, вдумчивого слушания лекций и симфоний.

Но, докликавшись горничной, с полчаса Христом-Богом доказывавшей хозяйке, что она не брала ни золотых ложек от Фаберже, ни какой-то старой, мышами изъеденной репы, Тальский оделся.

Ушел, позабыл булавку, вернулся опять, долго искал, дико, злобно ругался. Но вскоре звонил к Е.Н. Мирановой, где, как свой человек, мог бывать всегда по утрам дней для приглашений.

Когда он вошел, еще не было ни тени приготовлений к балу, что должен был основать сияющее здание абсолютного отношения к жизни. И над анфиладой покоев была будничность, подобно тигру, раскинувшему свои лапы.

В гостиной мальчик Дося, отвечая 14-й урок древней истории расвирепевшему и изнервничавшемуся учителю, произносил нечленораздельные звуки. И вечная сказка о том, что, когда мидийцы впали в ничтожество, у Астиага родился внук Кир, заслонивший собой всю Малую Азию, и что трупы фараонов были прозваны за свою неподвижность мумиями – вызывала у Тальского тихую тошноту и весьма понятную боль в шее.

Вошла Миранова, Елена Николаевна, в растрепанном и донельзя манящем утреннем туалете и с обычной в таких случаях вежливостью пригласила его зайти в 18, по возможности с кем-нибудь, знающим связь между членами Общества Стояния на Перекрестках. Тальскому очень хотелось доказать, что между отдельными членами О.С.Н.П. может существовать и не такая связь, но спохватился и начал прощаться.

День прошел незаметно, в тени, как тихое увядание нездешних цветов среди грез о том, что не проходит, и чего никогда не было. Звуки былого, неизъяснимо-щемящая жуть лиловыми сумерками легли на исстрадавшийся город, что манил огнями, с вышины подобными ожерелью на груди повелительницы мира, богини Истины. И фиолетовое забвение раскинулось над мировой ошибкой людской, и луна недостижимой и спокойной пятирублевой катилась над садами, где киоски, и мирт, и эхо, и старинная игра вечерних поцелуев.

Когда, в 17 часов, Тальский последний раз зашел в свою комнату – в воздухе носился запах духов и далекой тысячи любовников, письменный стол был бесцельно завален интимным и милым женским бельем, ботинки его, как те, были опрокинуты, и на постели сидела его жена, Зина Дорн.

Он не хотел догадываться, перебралась ли она к нему совсем; напрасно со свойственным ему обаятельным красноречием (он сам мог быть таким) мысленно называл ее великолепнейшим и абсолютным ничтожеством, последней женщиной на улице мира, неизлечимой и злобной язвой бесконечности – она спокойно высказала свою главную мысль – идти вместе к Мирановой.

– Иди! – коротко и решительно заявил он, и с бесстыдством, свойственным сошедшимся и вновь разошедшимся супругам, начал переодеваться, поминутно отворачиваясь и краснея.

Когда, блистая, они вошли в гостиные Елены Николаевны, все было иным, и, казалось, бесконечный экстаз роскоши вечно царил там, как тихое дыхание ночи над бескрайною жутью зимних полей.

Все были налицо. Сама Миранова, основательница и душа Общества Стояния на Перекрестках (во время приветствия она в одно мгновение оценила безумную роскошь туалета жены Тальского, на что та ответила тем же); профессор Ардов, перед сочинением которого: «О числах как бесконечной гранности» математические изыскания всех времен и народов казались жалким счетом на пальцах до $4\frac{1}{2}$; артист Кручинин-Дольский, своим «Иван, прекрати!» сводивший с ума несметные толпы людей; инженер, построивший путем материализованной энергии громадное колесо, в выгнутых желобах которого катились меньшие колеса с таким же бесконечным устройством внутри, и тем о существовании принцип «perpetuum mobile» в пространстве (в минуты плохого настроения он называл свое изобретение мировым колесом дьявола и боялся его); молоденькие студенты и курсистки, из-за приверженности к взглядам О.С.Н.П. с ярким хохотом разбивавшие не одну тысячу патриархальных устоев... Да! много было цветов!

– Наш девиз – бесконечность! – сказала Елена Николаевна и исчезла.

Сделалось весело. Профессор без труда собрал около себя многочисленный кружок слушателей и начал доказывать, увлекательно и ярко, что в произведении «десять» – «пять» несравненно большую роль играло, чем «два»; «пять» поступало сознательно, силой своей сущности, между тем как «два» очутилось нечаянно, быть может, даже против своей воли, по природе более стремясь к целому четному числу между 9 и 10. Профессору возражали; завязался очень интересный спор, оживленный обмен мнений, причем студенты, анализируя себя и других, дошли до таких к'одических и антиинициальных чисел, что Тальский безнадежно махнул рукою и начал глазами отыскивать Зину Дорн.

Этого сделать он не мог. Отыскать ее можно было только руками, в абсолютно темной комнате, неподалеку от гостиной, где она, быстро и легко раздевшись, доказывала какому-то молодому студенту иное, а именно: что жизнь, даже членов О.С.Н.П., слишком пуста без любви. По-видимому, тот это начинал хорошо понимать, так как был нежен и страстен до невозможного.

Вдруг из-за пальм, что страдали, как пленники в золотых, усеянных алмазами оковах, грянул вальс...

– Господа, музыка! – крикнули многие и побежали в бальные залы, как в бездны, желавшие их проглотить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.